

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Завязка. Пермь	9
Глава 2. Москва	58
Глава 3. Питер	108
Глава 4. Рехаб.	133
Глава 5. Кемпинг	161
Глава 6. Журавлёвка.	197
Глава 7. Замок	237
Глава 8. Развязка. Гагра	273
Эпилог.	283

Игорю Аверкиеву и Эдгару Степаняну

ГЛАВА I

ЗАВЯЗКА. ПЕРМЬ

Жил-жил, а потом беззастенчиво умер. Не я. Я пока держусь. Сосед мой Бориска умер, печень не выдержала. Я давно на его жену заглядываюсь, кстати. Когда она сказала, что он умер, я сначала потеряла ручки (они у меня маленькие, почти женские, но цепкие), а потом уже изобразил мину. Я к чужой смерти привык. Свою вот, наверное, не переживу, а чужую — запросто. Все умрут, а я останусь, думаю я в такие минуты.

Я сам тоже алкоголик. Уколоться могу. Могу дать прохожему в бубен за высокомерие. Сто граммов, буквально внутрь, и такой прямо темперамент, такая Испания, а трезвый — ну просто финн. Но это надводная часть айсберга. В подводную лучше не заглядывать. Там осьминоги пляшут с анакондами под дружные хлопки ядовитых скатов. Ну, или как бы рефлексия, эмпатия и инклюзия снимаются в фильме Паоло Пазолини «Сто двадцать

дней Содома» в главных ролях. Помню, была у меня такая концепция: человек развивается от примитивного к сложному, от сложного — к очень сложному и от очень сложного — к простому. Я недоразвился. Застрял на сложном. Генетика, видимо, потому что детерминизм социальной среды я взрезал. Не знаю, как взрезал. Бессознательно взрезал. Взрезался и всё. Осталась одна генетика.

А генетику хрен взрежешь. Тут фокус нужен. Или чудо. Это как трусы сдернуть с самого себя через верх, минуя ноги, легким движением, сохранив материю в целости. Фокусники так умеют. Хоп! И вот они, труселя, в руке реют. Я раз попробовал. По пьяни. С Ниной накирялись на Первомай. Разделись до трусов в присутствии кровати. Тут я фокус и вспомнил. Стой, говорю, Нинель. Садись на кровать, щас будет номер. Села. Я настроился. Собрал брови в кулак. Взял семейники спереди, за резинку. Ну, думаю, Господь, давай вместе перешагнем через генетику! Рванул. Ой, думаю, Господь, сука такая! Повалился на пол. Нинель недоумевала, конечно. Чуть жопу себе не порвал, до того в себя верил. Я в юности вообще много во что верил. В прошлое, в будущее — хотя ни там, ни там жизни, в общем-то, нет. Когда она есть — отдельный вопрос. Вроде она есть сейчас, а что такое это «сейчас», когда оно заканчивается и когда начинается — никто не знает.

В общем, фабула такова: два дня назад умер Бориска, и сегодня мы будем его хоронить на Северном кладбище, а я сижу на кухне, оседлав табуре-

точку, и курю злую красную сигарету «Винстон». Мне тридцать пять, пять из которых я был счастлив, двадцать пять верил во всякую хрень, а пять — пью. Я — маргинал Олег Званцев из Перми. Рост — 178 см, вес — 80 кг, зубов — 34, не знаю, как это получилось, волос мало (на голове), в кости широк, по характеру — циник-идеалист. Циник-идеалист — это такой человек, который хочет сделать идеально, по-доброму, правильно и красиво, а когда у него не получается, он включает цинизм. Вся моя биография состоит из таких попыток. Например, в пятнадцать лет я полюбил идеальную девушку, а она меня не полюбила. Но уже через каких-то восемь лет я вполне уверился в ее тупости и ветренности. Или вот с Леной сошелся. Она показалась мне большой женщиной. Я тогда завидовал Сартру. Не тому, что он смысленный, а тому, что у него была Симона, которая де Бовуар. Даже так — тому, что он существовал в ее присутствии. Я тоже хотел посуществовать в присутствии большой женщины. Встретил Лену. Она училась в «кульке» на актерском. Внешность меня не сильно интересовала, но она была красивой.

В те годы я был заражен одним образом и одним словом. Образ — качающийся маятник, слово — метамодернизм. Я хотел жить, как бы раскачиваясь, перетекая от одного к другому, в каком-то смысле совершая над собой постоянный эксперимент. С метамодернизмом сложнее. Если в модерне добро и зло закреплены за конкретными героями, а в постмодерне постоянно меняются местами

и не существуют как таковые, то в метамодерне добро и зло блуждают. Они есть, но есть, где пожелают, не только уживаясь в одном человеке, но и уживаясь, не вступая в борьбу, а пребывая параллельно, когда один и тот же человек может спасти ребенка и убить ребенка. Потому что и желание спасти ребенка, и желание убить ребенка в нем естественны и во многом зависят от обстоятельств. Метамодерн не говорит, что один человек добр, а другой зол, не говорит он и того, что добра и зла не существует. Он просто говорит, что и то, и другое совершенно в духе каждого человека. Без исключений.

Лена оказалась маленькой. Я так хотел верить в ее огромность, что понял это только спустя два года, а потом долго думал, как ей об этом сказать. Как сказать девушке, что она изначально была проектом, а не спонтанным раздражителем моей чувственности? Как сказать, что она прошла селекционный отбор, который поначалу казался селекционеру верным, а потом он осознал свою ошибку? Как сказать, что сто последних Лениных оргазмов произошли по недоразумению? Я не нашел слов. Запил по-черному. Трахнул шалаву. Поступил, как трус. Лена повела полными плечами и уехала в Москву. Нет, она много плакала, говорила необязательное, заламывала руки. А я сидел на табуреточке, как сижу сейчас, курил, кивал и думал, что пить, видимо, придется больше, иначе не подействует. Когда Лена исчезла, я остался один и возликовал: заводик коптел, водка пилаась, марались текстики, сношались телочки. Водка пилаась особенно хоро-

шо. Собственно, на этой почве я и сошелся с Бориской. Бориска прожил говенную жизнь. Рос с мамашей-тираном. Умел превосходно вырезать по дереву, но умение это пропил. Точнее, пропил желание его использовать. Отслужил морпехом во Владивостоке. Я-то вообще двенадцать лет на острове Русском отбарабанил.

Я живу на восьмом этаже панельного убожества, Бориска жил на девятом. Он привлекал меня сильными руками и какой-то хтонической неправдоподобной примитивностью. Он был фантастически туп. Я исследовал Бориску как редкого жука — под микроскопом великих сомнений. Он изменял жене и не чувствовал угрызений совести. Бил мать, когда ему казалось, что она кругом неправа. Жену Бориски зовут Ангелина. Она приехала в Пермь из какого-то маленького городка. Статная, с грудью и молочными плечами, на которых охота сжать зубы. Она тоже не Спиноза, но привлекательна своей жертвенностью. От жизни с алкоголиком ее черты подернулись чем-то библейским. Мне хочется трахнуть Ангелину, как Иуде, наверное, хотелось трахнуть Деву Марию. Ну, или Марию Магдалину, чтобы не травмировать вас святотатством. Бориска, хоть и пьяница, работал плотником на заводе. Ангелина торговала мясом в гастрономе. С тридцати до тридцати пяти, то есть пять лет, я частенько кирял с Бориской. Было время, когда я забавлялся идеей цивилизовать его алкоголизм, но быстро понял — цивилизовать некультурного человека можно только запретительными мерами, а окультурировать

Бориску я и не пытался. Я уже был недостаточно для этого глуп.

Два года назад Бориску увезли из дома на скорой. В больнице, кроме панкреатита, у него обнаружили цирроз. Вместо бесполезного лечения Бориска стал поддавать еще больше. В своем самоубийственном пьянстве он был даже красив и как-то более сдержан в смысле глупых эксцессов, видимо, от осознания финала. А мне надоели шалавы. Я хотел прижать Ангелину к стенке и зацеловать ее лик горячими губами. Мне хотелось стать для нее чувственным счастьем. Я был уверен — Бориска никогда не лизал свою жену. Когда мы ехали с Ангелиной в лифте три дня назад, я чуть не встал перед ней на колени, но сдержался, хотя внутри у меня все дрожало. Именно она сказала мне о смерти Бориски. Бориска пошел срать и умер. Простите. Ангелина сказала — «в туалет». «Борис ушел в туалет и там умер». Я потерял ручки и соорудил мину. Мне было плевать на Бориску, кроме одной его просьбы. Незадолго до смерти он пришел ко мне трезвый и попросил его кремировать, а прах развеять над Камой с Коммунального моста. В Перми нет крематория, потому что сильно кладбищенское лобби. Зато крематорий есть в Екатеринбурге. Отвези меня туда, сказал Бориска, и я впервые посмотрел на него не с научной, а с человеческой точки зрения. Почему, говорю, ты хочешь быть кремирован? Ответ Бориски меня потряс. Я, говорит, прожил говенную жизнь, а тут хотя бы после смерти приму в красивом участие. Я прослезился. Примешь! Обя-

зательно, говорю, примешь. Разумеется, о последнем желании Бориски я рассказал Ангелине. Вначале она согласилась ехать в Ёбург, а потом отказалась, потому что Борискина мать и другая кондовая родня не захотели крематория, а захотели классической могилы. Воскресение Бориски накануне Страшного суда представлялось им сомнительным после крематория. Ангелина, привыкшая поддаваться (виктимная моя прелесть), поддалась и на этот раз.

Докурив третью красную сигарету и додумав всю эту херню, я оделся и пришел в Борискину квартиру. На табуретках стоял гроб. Бориска был желтым, худым и сморщенным, как китайская жопа. Я и еще трое работяг с завода спустили гроб к подъезду. Шел дождь. Бабьим летом сентябрь не баловал. Заплаканная Ангелина в темном платке была удивительно хороша. К подъезду подъехал катафалк. Не пазик, а самый настоящий катафалк, из американского фильма. Закапал дождь. Мать и кондовая родня Бориски сгрудились под козырьком. Заметив катафалк, мать встрепенулась:

— Это что за иномарка? А пазик где?

Я отреагировал:

— Я катафалк заказал, чтоб Бориска отдельно ехал, барином. А мы все в пазике рванем. Давайте, мужики, грузим Бориску в катафалк.

Загрузили. Когда похороны, все не в своей тарелке. Русское отношение к смерти напоминает отношение к зиме — лучше не замечать, перетерпеть, не высовываться. Я подошел к Ангелине.